

Э. И. Худошина

КРЫМ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ПУШКИНА

Многие русские писатели «не знали», что Россия — Империя. То есть их творчество никак не отражало тот факт, что значительная часть российской территории — это земли, присоединенные к Империи силой, и что множество «полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей <...> требовали со стороны правительства непрерывного надзора для удержания их в повиновении»¹. Пушкин — «знал», в его творчестве отчетливо слышны имперские обертоны.

Иногда это отзвуки «греческого проекта» Екатерины II. Наиболее явно — в наброске стихотворения на Адрианопольский мир с Турцией 1829 г.:

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.

И [дале] двинулась Россия,
И юг державно облегла,
И пол-Эвксина вовлекла
[В свои объятия тугие].

(III, 168)

¹ Пушкин А. С. Капитанская дочка // Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1938. Т. 8. С. 313. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

Когда Пушкин писал эти строки, сам «греческий проект» уже давно «из сферы практической политики переместился в область великих фантазий»², но культурные механизмы, запущенные этим проектом и даже предшествовавшей ему морейской экспедицией Алексея Орлова³, продолжали действовать, и «русское общество еще жило сознанием предначертанной России исторической миссии восстановления Греции»⁴. Разумеется, отзвуки «греческого проекта» можно услышать и в «крымских» стихах русских поэтов, в том числе — в поэме «Бахчисарайский фонтан», в самой антитезе христианства и магометанства. Завоевание Херсонеса Таврического — места, где Россия «обрела свою веру и впервые встретилась с греческой культурой»⁵, — было для Г. А. Потемкина одним из идеологических оснований «греческого проекта» и первым шагом в его осуществлении. Вторым шагом была эллинизация Крыма⁶. Именно эта и только эта — «таврическая» — часть «гиперболических замыслов» Потемкина оказалась вполне реализованной. Но для поэзии этого оказалось достаточно, и для русских поэтов уже сбылось «пророчество Петра», о котором говорит С. С. Бобров в поэме «Таврида»⁷. «Эллиптическое» движении культуры за-

² Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 99. «Насыщенное описание» идеологии этого проекта см. там же, с. 33–64, 97–122 и др.

³ См.: Там же. С. 50–53.

⁴ Там же. С. 100.

⁵ Там же. С. 339.

⁶ «Визионер и утопист с чертами административной гениальности, сочетавший в себе экзальтированную набожность, богословскую эрудицию <...> с преклонением перед классической античностью и страстью к Греции и грекам», Потемкин был одушевлен идеей «гигантского геополитического разворота России на юг» и создания на Востоке православной империи, которая должна была объединить освобожденных от турецкого владычества греков и западных славян (Там же. С. 38).

⁷ Там же. С. 119–120. Имеется в виду фраза, сказанная Петром I ганноверскому послу К. Веберу и получившая широкую известность в России: «Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда (по превратности времен) они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем Европейским землям... <...> Указанное выше передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое — в Грецию» (За-

вершилось, она возвратилась к своим истокам, и русские получили возможность осознать, что они «в некотором, прежде всего религиозном, смысле и есть греки, а свою Грецию они уже обрели в Тавриде <...> идеальным воплощением Константинополя становится возрожденный Таврический Херсонес»⁸.

Обретенная Греция, однако, оказалась прежде всего Грецией эллинской, языческой, ибо «логический *tour de force*» этого удивительного проекта заключался в уравнивании религиозной преемственности и преемственности культурной: «между Константинополем и Афинами ставился знак равенства, а роль единственной церковной наследницы Византии по определению делала Россию и безусловно легитимной наследницей греческой античности. <...> Если традиционно считалось, что факел просвещения перешел из Греции в Рим, оттуда был подхвачен Западной Европой и из ее рук был принят Россией, то теперь Россия оказывалась связана с Грецией напрямую и не нуждалась в посредниках»⁹. Для русских поэтов Крым стал — и остался — своей, родной, возвращенной европейской цивилизации землей, «родиной духа». В антологической лирике Крым — это сама древняя Греция¹⁰, что справедливо и для пушкинских «подражаний древним» с их нераздельным слиянием лиризма (и даже «биографизма») и «антологии»¹¹.

писки о Петре Великом и его царствовании Брауншвейгского резидента Вебера // Русский Архив. 1872. Кн. 6. Стб. 1074–1075.

⁸ Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... С. 120. Сама идея «греческого проекта», как показал А. Л. Зорин, в значительной мере была рождена воображением поэтов, но именно Г. А. Потемкин преобразовал «систему поэтических метафор в развернутую политическую программу». О том, какую роль в создании идеологической основы этой утопии сыграли поэты — от Вольтера и Петрова до Державина, — см. там же, с. 39–44, 53–59, 102–114 и др.

⁹ Там же. С. 36–37.

¹⁰ См.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 198.

¹¹ Эти стихи, пишет исследователь, «строятся как бы на совмещении двух планов. С одной стороны, они выступают как опыты воссоздания „античных“, даже почти „мифологических“ ситуаций, с другой — они могут прочитываться и „биографически“: лирический герой не только может, но и „обязан“ соотноситься с автором. Возможность такого двойного прочтения обуславливается возможностью мифологизации локуса, с которым связаны все „антологические“ тексты. Это Крым,

Итак, «крымской идиллией» русская культура обязана русским политикам и их имперским замыслам. Но к имперскому тексту Пушкина «крымский рай» имеет лишь косвенное отношение: для творчества Пушкина и особенно для его имперского текста значение основного имеет не *греко-византийский*, а *римско-имперский* миф русской культуры. В представлении об этом мы исходим из недостаточно, на наш взгляд, оцененной концепции Л. В. Пумпянского о русской литературе XVIII—XX вв. как завершающем звене античной традиции и особенно из его исследований русской литературы XVIII в.¹²

Всю литературу, возникшую вследствие «великой рецепции» античной культуры, Л. В. Пумпянский называет «классической», поскольку она находится «в известном отношении к не своей абсолютной ценности»¹³. Именно этот тип культуры С. С. Аверинцев определил как «рефлексивный традиционализм»¹⁴, а А. В. Михайлов — как мифориторическую или морально-риторическую систему культуры. Ее отличительная особенность заключается в том, что она основывается на *готовом* слове, которое дано поэту как *готовый* смысл, форма понимания и обобщения всего, что есть. Это не только законченная картина мира, это «система, система организованного словом морального знания. <...> Все держится целым: поэзия — знание — мораль...»¹⁵. Такая система и усваивается как це-

который, оставаясь реальным географическим пространством, в то же время приобретает черты пространства мифологического. Пушкинский русский Крым — это *вместе с тем* и античная Таврида. <...> Соответственно и лирический герой (как и стоящий за ним автор-поэт) оказывается включенным как бы в два хронотопа, взаимно наплывающие друг на друга, взаимно проникающие друг в друга и тем создающие удивительный эффект — не стилизацию „антологий“, а „антологического“ восприятия реальности...» (Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 85–86).

¹² См.: Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 30–157.

¹³ Там же. С. 30.

¹⁴ Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3.

¹⁵ Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX веков // Михайлов А. В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М., 1997. С. 512.

лое. Когда другая культура строится на ее основе, эта система переносится на новую почву как нечто завершенное в самом себе; благодаря этому новая культура возникает «из ничего» и «вдруг», рождаясь «готовой» и в полном вооружении. Именно так, «из ничего» и «вдруг», в русской литературе XVIII в. родился, и притом исключительно в поэзии, в слове, русский римско-имперский *миф* (если брать это понятие в его первоначальном смысле: как обобщение, возникающее и заданное в самом слове, и как отношение к предмету через уже существующее слово¹⁶) — одновременно и вместе с новой литературой.

На пустом месте, «из ничего» возникла русская сатира — с готовой мудростью, законченностью и «старческими» чертами «лжесовершенства»¹⁷, с гораццианским идеалом просвещенного, истинно благонамеренного вельможи. Римский императорский идеал стал идеалом Кантемира, а вместе с ним и всего русского XVIII века. «В Риме он был сложного происхождения <...> новой Европе он был передан вследствие громадного авторитета всего, что было в Августов век»¹⁸. Вместе с ним была усвоена навсегда верная мудрость, навсегда верный восторг. «Из ничего» возникла «ода правящих». Когда-то она была рождена на Западе «восторгом, аналогичным русскому, по пропорции: Европа к античности, что Россия к Европе», теперь восторг перед Западом «вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой как западной страной» и «в глубокое сознание тождества двух империй»¹⁹. Пумпянский не раз изумляется этому поразительному, ни на чем не основанному переживанию тождества, этому самоотожествлению русской аристократии — с римской, ее самовозвышению «до всемирного понимания своих дворцов, власти, статуй, картин»²⁰. «Это был славный век, который посмел думать о себе: мы здесь, на Севере, то же, что те, в Риме! Так смеет думать о себе только истинная аристократия, правящая по исторической справедливости»²¹.

¹⁶ См.: Там же. С. 510.

¹⁷ Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма. С. 44.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 54.

²⁰ Там же. С. 89.

²¹ Там же. С. 91.

Одновременно родилось представление об имперском призвании России — призвании открыть, исследовать и цивилизовать дикие пространства и народы²². В дальнейшем географический пафос превращается в правительственный, сознание своей призванности — в сознание своего могущества, а также в «римское чувство власти над громадной частью земли»²³, решающим понятием становится подданство, и отсюда — навык в перечислении чужих народов, «не меньший, чем у Горация»²⁴. Важнейшей составляющей этого мифа является исповедание единой истории как истории цивилизации (разумеется, европейской) и отрицание в связи с этим «морфологичности произвольных культур»²⁵, следовательно, чувство правоты завоевателя, особое колониальное мышление, при котором «дикие» народы должны быть завоеваны, чтобы цивилизоваться и войти в Историю. Формируется альтернатива: «жить ли всеобщим разумом или в варварской, мнимой самостоятельности, но двух путей разума нет»²⁶. Отметим также «глубоко политическое происхождение всего первого поколения ямбической поэзии», которое «навсегда связало будущую русскую поэзию с политическими проблемами высшего типа», с «историографической задумчивостью» классической поэзии, с мышлением «избранными важными мыслями», которые все связаны с судьбой империи²⁷.

В эпоху Екатерины II в рамках этой риторической римско-императорской концепции многонародной России был осуществлен «поворот от Колумба (у Ломоносова. — Э. Х.) к историческим задачам на ближнем Востоке»²⁸ — римским задачам, в число которых входило и «отмщение» поруганной Греции. Стержнем «греческого проекта» как идеологической конструкции было, напомним еще раз, приравнивание религиозной преимущества к культурной. «Смещение

²² См.: Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма. С. 61–62, 203–204 и др.

²³ Там же. С. 42.

²⁴ Там же. С. 130.

²⁵ Там же. С. 62.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. С. 60.

²⁸ Там же. С. 80.

византийских и античных мотивов, — пишет А. Л. Зорин, — мы постоянно видим, в частности, во всей атрибутике проекта»²⁹. Л. В. Пумпянский отметил в этом смешении изначальное присутствие не просто античных, но именно римских мотивов: идеология первой турецкой войны «связана с театром военных действий Румянцева: война в Молдавии была война в траиновых местах, и можно было надеяться, что русские войска дойдут и до греческих: это было основанием, которое позволило развить ломоносовский набросок этой темы в многократно повторяющуюся мысль о русских как отмстителях за стыд Греции — исполняющих долг благодарности за всю Европу: позднейшие из потомков исправляют ошибку темных времен. <...> Когда же началась война, Петров вспомнил отщепенство за Византию, но сейчас же и за древнюю Грецию; он серьезно упрекает французов, предки которых когда-то были подданными Рима, что они втайне против России!»³⁰ Понятно, что, когда «греческий проект» был «закрыт» и забыт, Таврида оказалась эллинской составляющей римско-имперского мифа.

«Классический» Пушкин — прямой наследник этой поэтической системы, и римско-имперский миф является одним из важнейших оснований его творчества, основанием чаще всего скрытым и в то же время всем известным, как всякий архетип³¹.

Идеал просвещенного, истинно благонамеренного вельможи с его несколько «старческими» чертами лжесовершенства легко опознается в пушкинской лирике — не только в юношеском «К Лицинию» (1815)³², но и в других стихах, например в зрелом

²⁹ «Если традиционно считалось, что факел просвещения перешел из Греции в Рим, отсюда был подхвачен Западной Европой и из ее рук был принят Россией, то теперь Россия оказывалась связана с Грецией напрямую и не нуждалась в посредниках» (Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... С. 36–37).

³⁰ Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма. С. 79–80.

³¹ Ср.: «Пушкин <...> не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании. Зато другая тема, тема Империи, остается неизменной» (Федотов Г. П. Певец Империи и свободы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 143).

³² Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
Тщеславной юности оставим блеск веселий <...>
Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.

«Из Пиндемонти» (1836 — со значительно «помолодевшим» лирическим героем) или в «крымском» послании «Чедаеву» (1824). Здесь поэт на развалинах греческого храма с энтузиазмом предаётся святым историческим (греческим, мифологическим) воспоминаниям и размышлениям о вечных ценностях, о союзе высоких душ, и все стихотворение обвеяно тем благородным духом (скорее римским, гораціанским, чем греческим) свободы в несвободном мире и той самой «готовой» мудростью, которой русские поэты учились у Горация (о других римских коннотациях этого стихотворения будет сказано ниже). Следует заметить, что этот идеал присутствует и в антологической лирике Пушкина, который в своих «подражаниях древним», конечно, хотел и умел «быть греком», но и здесь его «посредниками» и учителями были поэты, принадлежавшие к той же культуре «рефлексивного традиционализма», и прежде всего — римские поэты «золотого века», которые тоже хотели и умели «быть греками». Можно сказать, Пушкин умел это делать «не хуже Горация».

Блестящими образцами «оды правящих» являются «антипольские» стихи 1831 г. («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»), а также Эпилог «Кавказского пленника». В этих стихах с такой мощью отразилось «обаяние торжествующей силы» и «аполлинический эрос Империи»³³, что Г. П. Федотов, размышляя о «свободном консерватизме» Пушкина, совмещавшем «служение этим двум божествам» — Империи и Свободе, вынужден был сказать и о «политическом аморализме» в «антипольских одах», и о «юношеском увлечении насилием» в «имперских концовках» двух южных поэм, и даже оценить одну из этих концовок — Эпилог «Пленника» — как погрешность «против нравственного, а следовательно, и художественного такта»³⁴. Что касается имперской географии, то она с одическим

Лициний, поспешим далеко от забот,
 Безумных мудрецов, обманчивых красот!
 Завистливой судьбы в душе презрев удары,
 В деревню пренесем отеческие лары! (III, 112).

³³ Федотов Г. П. Певец Империи и свободы. С. 146.

³⁴ Там же. С. 146–147.

великолепием представлена и в этих стихах, и во множестве других, а также — без одического восторга, но со спокойным чувством имперской силы и правоты — в прозе, в том числе исторической (например, в «Истории Пугачева»); в травелогах («Отрывок из письма к Д.», «Путешествие в Арзрум» и др.).

В «империльной формуле»³⁵ стихотворения «Клеветникам России» представлена и Таврида:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

(III, 270)

Отметим, что сама эта формула более чем традиционна³⁶. Она напрямую восходит к одической географии и картографии Ломоносова, к его «микро-характеристикам географических ориентиров», которые Пушкин, по наблюдениям Е. В. Душечкиной, дополнил «историческими аллюзиями и перифразами»³⁷. Действительно,

³⁵ Термин Л. В. Пумпянского (см.: *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума // *Русская литература XVIII — начала XX века в общественно-культурном контексте.* Л., 1983. С. 22–23 (XVIII век. Сб. 14)). См. также специальную статью, посвященную этой формуле: *Душечкина Е. В.* «От Москвы до самых до окраин...»: Формула протяжения России // *Риторическая традиция и русская литература: Межвузовский сборник.* СПб., 2003. С. 108–125.

³⁶ Интернациональная по своему происхождению, она многократно использовалась «самыми разными поэтами XVIII в., архаистами, Пушкиным, Лермонтовым, Вяземским <...> и другими известными и малоизвестными авторами» (см.: *Душечкина Е. В.* «От Москвы до самых до окраин...» С. 108–125).

³⁷ Там же. С. 114. Ср.: «Ломоносов мысленно простирает взгляд по территории России и с запада на восток, и с востока на запад, и с севера на юг, и с юга на север. Для ограничения Российских рубежей он пользуется терминами физической географии и топонимами, опираясь на естественные границы, разрывы, водоразделы, которые являются одновременно и политическими разделами между Россией и соседними государствами. Поэзия Ломоносова не только географична, но картографична: создается впечатление, что он пишет оды, представляя перед собой карту России и оперируя ею в своих поэтических построениях. Отсюда обилие топонимов и географической лексики <...> он не только называет рубежи империи, но дает

в пушкинской формуле почти каждый топоним — это историко-политический и или геокультурный концепт: Пермь — «ломоносовский» знак расширения России на северо-восток; Кремль — эмблема победы над Наполеоном, а также древней, допетровской Руси; Китай обозначает тот «недвижный» рубеж, границу европейской Ойкумены, которую европейцы не дерзали переходить, но куда дотягало воинственное воображение одописцев, а также характерное для Европы представление о политической и культурной «недвижности» и «замкнутости» загадочной для европейского сознания страны; наконец, финские скалы и пламенная Колхида, означая грандиозную вертикаль на карте Империи, соединяющую в единое целое «северную систему» Н. И. Панина и «восточную систему» Г. А. Потемкина, являются также культурными знаками «варяг» и «греков», «Оссиана» и «Гомера», мифологии «северной» и мифологии древнегреческой, «южной». Так же и Таврида символизирует здесь и победы русского оружия, и «органическую» причастность русской культуры культуре античной, а также неявным образом представляет те два концепта, которыми Крым входит в имперский текст Пушкина: татарский и эллинский.

В «Отрывках из путешествия Онегина» Таврида — один из эпизодов маршрута, прочерченного вдоль юго-восточной границы России (таких границ все более отдаленных и «диких» провинций — несколько, и они привычно, со времен Ломоносова, обозначаются реками и горами), где явно отмеченной оказалась «восточная», «татарская» тема: Москва, Нижний Новгород, великая русская река Волга, на которой в недавнем прошлом располагались столицы татарских ханств (из них названа Астрахань), затем Кавказ и Крым. Онегину, который, подобно Пленнику, а также лирическому герою первой крымской элегии, покинул свой родной предел и «вдаль бежал», Пушкин (Онегин «вспомнил» о нем именно в Тавриде) подарил свое путешествие с Раевскими по Кавказу

микро-климатические пейзажи: не просто Дунай, но „устье быстрых струй Дунайских“, не просто север, но „горы, где мраз насильный“ или же „непроходные льды“, не просто Каспий, но „теплые страны Каспийские“» (Там же. С. 114–115).

и Крыму. Чтобы почувствовать, как сильны были именно имперские впечатления поэта, достаточно проследить маршрут его поездки: от одной казачьей станицы до другой в сопровождении отряда «в 60 казаков с пушкой», затем на военном бриге³⁸. В описании онегинского путешествия доминируют имперские краски, путевые картины эмблематически изображают величие России, ее военное могущество, а также смиренное равнодушие или капризную строптивость покоренных народов:

Он видит: Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюды лежат в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вокруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали — кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Через их опасные преграды;
Берега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.
<...>

Онегин посещает потом Тавриду...
(VI, 198–199).

Крымско-татарская тема в качестве имперской была впервые заявлена в Эпиллоге к «Кавказскому пленнику», где, как бы в пример Кавказу, упомянуто «племя Батыя»:

³⁸ См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 194–196. См. также письмо к Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 г., где поэт, в частности, писал: «Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградой в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии» (XIII, 18).

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.

(IV, 114)

Но последняя победа над «племенем Батыя» (в ряду других, более знаменитых, без которых не могла состояться «великая Русь») — это покоренье Крыма, и Эпилог «Пленника» «предсказывает», таким образом, не только замиренье Кавказа, но и — в другой действительности и другом времени, времени «автора-создателя» — поэму «Бахчисарайский фонтан». Здесь татарская тема предстала как магометанская в противопоставлении христианской. Ее символическое выражение — «дерзновенное» соединение креста и полумесяца на фонтане Бахчисарайского дворца — является, конечно, также символом «романтической», «безумной», «невозможной» любви, романтического устремления к недостижимому. Этот символ, безусловно, стоит «в ряду антитез, образующих сюжетную и семантическую структуру поэмы...»³⁹. В связи с этим стоит вспомнить, что обе героини поэмы — это христианки, попавшие в гарем татарского хана, и что действие поэмы приурочено к тем временам (в любом случае легендарным), когда Крым входил в состав Оттоманской империи. География ее набегов и рубежей, как и «греческая» тема притеснений христианского населения и глобальной угрозы христианскому миру со стороны мусульманского Востока (это один из главных мотивов в идеологии «греческого проекта»), символически представлена Польшей и Грузией, откуда привезены «татарские пленницы», одна из которых уже успела забыть и лишь смутно вспоминает веру своих предков.

Но татарская тема в этой поэме оказалась также задана в качестве лирической. В романтической поэме был свой механизм смыс-

³⁹ Проскурин О. Комментарии // Пушкин. Соч.: Комментированное издание / Под общ. ред. Д. Бетеа. М., 2007. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1. С. 340; паг. 2-я.

лообразования, заключавшийся «в общности и параллелизме переживаний автора и центрального персонажа». Согласно концепции Ю. В. Манна, здесь заключалась «вся хитрость конструкции романтической поэмы»⁴⁰. Взаимодействие сходного и различного в авторской и эпической линиях необычайно усиливало ее эффект. «Это было усиление не вдвое, а в значительно большее число раз, так как оно создавало универсальность и всеобъемлемость романтического содержания»⁴¹. В крымской поэме такой эпической параллелью к лирической линии является линия Гирея. О. А. Проскурин называет это эксплицированным присутствием лирического начала: «...в текст вводился квазиисповедальный образ автора-повествователя. Именно в свете авторского „присутствия“ изложенное в поэме „печальное преданье“ могло прочитываться как выражение любовных переживаний самого поэта, как завуалированный рассказ о его неразделенной любви»⁴². Этому элегическому «я» романтической поэмы в «Бахчисарайском фонтане» соответствует «очередная квазиэпическая реинкарнация элегического героя»⁴³, — влюбленный татарский хан. Он такой же «страдалец» и «мученик любви», «безумец», в сердце которого даже во время боя

...чувств иных

Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горячи слезы льет рекой.

(IV, 168)

⁴⁰ Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 161.

⁴¹ Там же. С. 162.

⁴² Проскурин О. Комментарии. С. 288–289; pag. 2-я.

⁴³ Там же. С. 328; pag. 2–8.

Впоследствии эти стихи Пушкину казались смешными⁴⁴, но заставивший с саблей Гирей — просто готовая эмблема романтического «безумия» и элегической «измены» классицизму. Предводитель татарских орд, «бич народов», «татарин буйный» в романтической поэме представлен только в своей частной, интимной, сердечной жизни, о которой и рассказано языком элегии. В связи с этим можно вспомнить необычайно интересное замечание Л. В. Пумпянского о том, почему оды Державина с экзотической, оссианической «инсценировкой» не могли превратиться в поэму: для того чтобы сложился сюжет наподобие «Кавказского пленника», «нужна „измена“ русскому историческому делу ради собственной „пламенной мечты“, нужны первые „разочарованные“, первые „уклоняющиеся“ (а не исторически здоровые екатерининские маршалы)»⁴⁵, то есть нужны герои, изменившие «одическому» делу, нужен контраст между одическим местом действия и фигурой героя. И действительно, когда молодой патриций (Пленник) отправляется в далекую колонию не для того, чтобы гасить бунт или завоевывать новые земли, а потому, что его ведет некое личное чувство, то это — измена «одическому» имперскому делу, так же как слезы Гирея — измена «одическому» делу войны.

Но вот что интересно: есть в пушкинской поэме еще одна «измена» — измена автора своему «элегическому» делу. Таковой в «Кавказском пленнике» является смена тона в Примечаниях и Эпiloге, но в «Бахчисарайском фонтане» это сделано иначе, с интеллектуальной веселостью классика: если Гирей, как и положено элегическому влюбленному, живет *одной* любовью, что в данном контексте означает пренебрежение гаремом и забвение других жен, то автор как бы присваивает себе «преданный забвенью» гарем, вводя в качестве лирического отступления почти гротескную эпическую

⁴⁴ В «<Опровержении на критики>» он писал, что А. Раевский «хотел» над этими стихами. «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (XI, 145).

⁴⁵ Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма. С. 102.

параллель к лирическому плану поэмы, сравнив сердце (автора, человека вообще) — с гаремом, в «дальнем отделенье» которого живет польская княжна:

И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...
(IV, 162)

Такой странный, но в контексте пушкинского творчества не лишенный логики поворот получает здесь тема «утаенной любви».

В «имперском» контексте эта параллель может найти неожиданное продолжение, если вслед за Л. В. Пумпянским мы вспомним о том, какое развитие получила татарская тема в киргиз-кайсацком ориентализме XVIII в., родившемся из сочиненной Екатериной II «Сказки о царевице Хлоре» и сделавшемся «эстетически обязательным» и в поэзии, и в придворной жизни. Условный Восток французского Просвещения в России осложнился «своим Востоком — татарско-дворянским; не один Державин, значительная часть русского дворянства пережила тогда возрождение своего татарского самосознания», русские вельможи стали гордиться татарской составляющей своей родословной (можно сказать, как римляне этрусской), и «совершенно неожиданно русская поэзия окрасилась этим странным возрождением»⁴⁶. Как известно, ни вольтеровский, ни державинский ориентализм не прошли мимо Пушкина. В лицейском послании «К Галичу» татарский халат (вероятно, не без отсылки к известному портрету Державина) — символ эпикурейских пиров и поэтической «лени». Но не случайна здесь и военная нота:

⁴⁶ Там же. С. 94.

Татарский сброшу свой халат,
 Простите, девственные музы!
 Прости, приют младых отрад! —
 Надену узкие рейтузы,
 Завью в колечки гордый ус,
 Заблещет пара эполетов,
 И я — питомец важных муз —
 В кругу воюющих корнетов!

(I, 122)

В татарской теме, одически предсказанной в Эпиллоге к «Кавказскому пленнику» и лирически развитой в «Бахчисарайском фонтане», возникают неожиданно-символические коннотации: русский патриций знает, что он — европеец, но в то же время чувствует себя и «немного татарин», так же как русский имперский миф «знает», что Россия — это цивилизующий «дикие» народы Запад, но в то же время — «немного» Восток.

Вернемся к «Отрывкам из путешествия Онегина». Собственно таврическая, то есть эллинская, тема начинается здесь следующим образом:

Воображенью край священный:
 С Атридом спорил там Пилад,
 Там заколося Митридат,
 Там пел Мицкевич вдохновенный
 И посреди прибрежных скал
 Свою Литву воспоминал.

(VI, 199)

Имперские коннотации очевидны в четырех последних из шести приведенных стихов. Митридат Великий покончил с собой, потерпев поражение в войне с Римом, А. Мицкевич — ссыльный поэт, патриот хотя и побежденной, но внутренне не покорившейся имперским притязаниям Польши. Что же касается Атрида и Пилада, то в комментариях к этой строке мы чаще всего находим, без называния ис-

точников, сведения о том, что в Крыму, по преданию, находился храм Артемиды, с которым связан древнегреческий миф об Оресте, о его сестре Ифигении и проч. В. В. Набоков, довольно небрежно комментируя «Отрывки», иронически упомянул старые французские «мифологии», из которых «черпали сведения Пушкин и его читатели»⁴⁷. На самом деле все не так просто, поскольку у Пушкина здесь явная отсылка, но не к школьным учебникам, а к собственному творчеству: прежде всего к посланию «Чедаеву» («К чему холодные сомнения...») — упоминавшемуся выше «крымскому» стихотворению, в котором пересказывается сюжет об Оресте и Пиладе. Контекст этого стихотворения довольно широк. Рассмотрим его подробно.

Написанное в 1824 г. в Михайловском, оно неоднократно печаталось под датой «1820»⁴⁸. Вопрос, с какой целью Пушкин мистифицировал читателей, печатая стихотворение с ложной датой, не раз занимал исследователей. Б. В. Томашевский ответил на него следующим образом: «Воспоминания о Крыме — последняя дань романтизму, так как именно крымская тема всегда была в центре романтических впечатлений Пушкина. <...> Четыре стихотворения, посвященные Крыму, возвращали Пушкина в прошлое. Вот почему, печатая эти стихи, Пушкин не поставил настоящей даты, а отнес их к 1820 г., к поэтической системе, которую он уже преодолевал в 1824 г., но которая жила в его произведениях южного изгнания»⁴⁹. Ю. Н. Чумаков, подробно рассмотрев и сравнив это послание к Чадаеву с первым («Любви, надежды, тихой славы...»), увидел здесь намеренное сближение датировок двух стихотворений и дал ему мировоззренчески-философское объяснение. Но главное — он обратил внимание на то, что Пушкин эти послания намеренно уподобил. Чтобы в этом убедиться, говорит он, достаточно привести параллельно оба текста:

⁴⁷ Набоков В. В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. / Под ред. А. Н. Николюкина. М., 1999. С. 838.

⁴⁸ Подробный анализ истории создания и публикаций этого стихотворения см.: Проскурин О. Комментарии. С. 354–361; паг. 2-я.

⁴⁹ Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2. С. 46.

Любви, надежды, тихой славы
 Недолго нежил нас обман,
 Исчезли юные забавы,
 Как сон, как утренний туман;
 Но в нас горит еще желанье,
 Под гнетом власти роковой
 Нетерпеливою душой
 Отчизны внемлем призыванье.
 Мы ждем с томленьем упованья
 Минуты вольности святой,
 Как ждет любовник молодой
 Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!
 Товарищ, верь: взойдет она,
 Звезда пленительного счастья,
 Россия вспрянет ото сна,
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

(II, 72)

К чему холодные сомненья?
 Я верю: здесь был грозный храм,
 Где крови жаждущим богам
 Дымились жертвоприношенья;
 Здесь успокоена была
 Вражда свирепой Эвмениды:
 Здесь провозвестница Тавриды
 На брата руку занесла;
 На сих развалинах свершилось
 Святое дружбы торжество,
 И душ великих божество
 Своим созданием возгордилось.

.....
 Чедаев, помнишь ли бывшее?
 Давно ль с восторгом молодым
 Я мыслил имя роковое
 Предать развалинам иным?
 Но в сердце, бурями смиренном,
 Теперь и лень и тишина,
 И, в умиление вдохновенном,
 На камне, дружбой освященном,
 Пишу я наши имена.

(II, 364)

«Жанр, адресат, метр, объем — все совпадает. Более пристальный взгляд заметит сходство темы»⁵⁰, — пишет исследователь, анализируя далее сходные черты лексики, поэтического синтаксиса, ритма, фоники и композиции. Ясно, что таким подчеркнутым сближением Пушкин заставляет читателя вспомнить о своем неподцензурном, но «всем» известном стихотворении (которое, в числе других, было причиной его ссылки) и тем самым делает его «почти» напечатанным. Своим подобием второе послание к Чаадаеву «не отменяет первого. Благодаря силам ассоциативной возвратности оно притягивает его.

⁵⁰ Чумаков Ю. Н. Композиция двух посланий к Чаадаеву и эволюция пушкинского стиля // Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб, 1999. С. 308.

Оба стихотворения и противопоставлены, и продолжают друг друга, замыкаясь в высшее семантическое единство»⁵¹. В результате эти два послания оказались чем-то вроде мини-цикла или «двойчатки», какие мы видим в творчестве Тютчева, Блока и др. Сквозным сюжетом этого цикла является многоступенчатый отказ от прежних ценностей и утверждение новых, изменение лирического «я», его эволюция, условно говоря, «от Овидия к Горацию».

«Всякое новое истолкование обычно требует нового аспекта исследования, причем анализ иногда приводит к постановке или решению ряда сопутствующих вопросов. В зависимости от применяемых средств и методов получаются различные системные описания одного и того же художественного объекта, каждое из которых может оказаться истинным»⁵². В нашем рассмотрении мы обратим внимание на то, что, печатая это стихотворение, Пушкин неизменно обозначал не только время, но и место его создания. При первой публикации (Северная пчела. 1825. № 12. 27 янв.) оно было напечатано под заглавием «К Ч.» и с пометой «1820. Морской берег Тавриды»; при повторной публикации (1826 г.) помета стала частью заголовка: «Ч***ву. С морского берега Тавриды. 1820»⁵³. В альманахе «Северные цветы на 1826 год» был впервые напечатан «Отрывок из письма к Д.», в который изначально входило это послание. Здесь Пушкин, описывая свои крымские впечатления 1820 года, писал: «Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридагову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение <...> В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом... <...> Я объехал полуденный берег, и путешествие М<уравьева> оживило во мне много воспоминаний... <...> Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний историче-

⁵¹ Там же. С. 316.

⁵² Там же. С. 308.

⁵³ Подробнее см.: Проскурин О. Комментарий. С. 359; паг. 2-я.

ских; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они: К чему холодные сомненья?...» Далее идет полный текст послания. И затем: «В Бахчисарай приехал я больной...» (VIII, 438).

Все концепты крымского мифа представлены в этом тексте: христианство и магометанство, история и мифология, Древняя Греция и современная «крымская идиллия». А также то страшное, дикое место, о котором рассказывает Овидий в «Тристиях» и в «Письмах с Понта»⁵⁴.

Я лишь для ссылки хочу не такого сурового места,
Ближе к латинской земле, дальше от диких врагов.
<...>

Не отпускают меня берега Евксинского Понта.
Древние звали его Понтом Аксинским не зря...
<...>

Если ты слышал о тех, что ликуют, людей убивая,
Знай: обитают они рядом, под той же звездой.
Близко места, где у тавров алтарь стрелоносной богини
Кровью кощунственных жертв часто бывал окроплен.
Память жива, что поблизости здесь было царство Фоанта:
Мерзкое добрым, оно даже и злых не влекло.
<...>

С этой страной, что лежит у предела земли и откуда
Люди и боги бегут, я по соседству живу.
Близко от наших мест приносились кровавые жертвы,
Если уж «нашей» зовет варваров землю Назон⁵⁵.

⁵⁴ Пушкин читал Овидия в переводе на французский, но «несомненно сверял французский перевод с латинским подлинником...» (*Вулих Н. В.* Образ Овидия в творчестве Пушкина // *Временник Пушкинской комиссии.* 1972. Л., 1974. С. 67).

⁵⁵ *Публий Овидий Назон.* Скорбные элегии. Письма с Понта / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1978. С. 60.

Ср.:

Mitius exilium pauloque propinquius opto,
Quique sit a saevo longius hoste, locum.
<...>

Frigida me cohibent Euxini litora Ponti:
Dictus ab antiquis Axenus ille fuit.
<...>

Illi, quos audis hominum gaudere cruore,
Paene sub ejusdem sideris axe jacent:

Место в Скифии есть, что зовется издревле Тавридой
И отстоит от страны гетов не так далеко.

<...>

Там и по нынешний день есть храм, и четырежды десять
К мощным колоннам его в гору ступеней ведут.

Здесь, повествует молва, небесный кумир находился;

Цело подножье его, хоть и пустое, стоит.

Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным,

Красным от крови людей сделался, цвет изменив⁵⁶.

В обеих книгах подробно развиты темы и «грозного храма», и человеческих жертвоприношений (которые «дымятся» в пушкинском стихотворении), и дружеской доблести:

Nec procul a nobis locus est, ubi Taurica dira
Caede pharetratae pascitur ara Deae.
Haec prius, ut memorant, non invidiosa nefandis
Nec cupienda bonis regna Thoantis erant.

<...>

Haec igitur regio, magni paene ultima mundi,
Quam fugere homines Dique, propinqua mihi est;
Atque meam terram prope sunt funebria sacra,
Si modo Nasoni barbara terra sua est.

(*Publius Ovidius Naso*. Tristia; IV, 4; 55–56, 61–66, 83–86 // *Œuvres complètes d'Ovide* / Ed. C. L. F. Panckoucke. [Paris], 1834. T. 9. P. 232, 234).

⁵⁶ *Публий Овидий Назон*. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 126.

Ср.:

Est locus in Scythia, Tauros dixere priores,
Qui Getica longe non ita distat humo.

<...>

Templa manent hodie vastis innixa columnis
Perque quater denos itur in illa gradus.
Fama refert illic signum caeleste fuisse:
Quoque minus dubites, stat basis orba Dea
Araque, quae fuerat natura candida saxi,
Decolor adfuso sanguine tincta rubet.

(*Publius Ovidius Naso*. Epistulae ex Ponto; III, 2; 45–46, 49–52 // *Publius Ovidius Naso cum variis lectionibus codicum Parisinorum* / Ed. N. E. Lemaire. [Paris], 1822. Vol. 7. P. 384).

После того как Орест, неизвестно, герой ли, злодей ли,
 Яростью фурий гоним, в эти явился края,
 Вместе с фокейцем, что стал примером истинной дружбы,
 Ибо одна душа в двух обитала телах,
 Вскоре оба в цепях к алтарю доставлены были,
 Что перед дверью двойной храма кровавый стоял⁵⁷.

К смерти готовый Пилад торопит Ореста в дорогу,
 Спорит Орест. Умереть каждый за друга готов,
 Только в этом друзья прийти не могут к согласью —
 Прежде всегда и во всем были они заодно.
 Юноши спорят еще, продолжая в любви состязаться,
 Брату спешит между тем дева письмо начертать.
 Брату писала она, а тот, кто ждал порученья, —
 Вот что бывает с людьми! — был ее собственный брат⁵⁸.

Страшная Таврида Овидия вместе с мифом об Оресте и Пилате представлена в стихотворной части «Отрывка» — в послании Чаадаеву.

⁵⁷ Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 60.
 Ср.:

Quo postquam, dubium pius an sceleratus, Orestes
 Exactus furiis venerat ipse suis
 Et comes exemplum veri Phoeus amoris,
 Qui duo corporibus, mentibus unus erant;
 Protinus evincti tristem ducuntur ad aram,
 Quae stabat geminas ante cruenta fores.

(Publius Ovidius Naso. Tristia; IV, 4; 69–74 // Œuvres complètes d'Ovide. P. 232).
⁵⁸ Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 127.
 Ср.:

Ire jubet Pylades carum periturus Orestem;
 Hic negat; inque vices pugnat uterque mori.
 Extitit hoc unum quo non convenerit illis:
 Cetera par concors et sine lite fuit.
 Dum peragunt juvenes pulchri certamen amoris,
 Ad fratrem scriptas exarat illa notas.
 Ad fratrem mandata dabat, cuique illa dabantur, —
 Humanos casus aspice! — frater erat.

(Publius Ovidius Naso. Epistulae ex Ponto; III, 2; 85–92 // Publius Ovidius Naso cum variis lectionibus. P. 386–387).

На то, что в этом стихотворении есть реминисценции из Овидия, в свое время указал Д. П. Якубович, разбирая эпизод в поэме «Цыганы» с рассказом об Овидии, который Пушкин вложил в уста старика-цыгана. «По-видимому, мысль об этом заронил сам Овидий, в „Посланиях с Понта“ (III, 2, 41–42), вложивший в уста старику Гету, на фоне рассуждений о славе, рассказ об Оресте и Пиладе и былом Тавриды, сохранный молвой („nomina fama tenet“). <...> Этот эпизод со старым Гетом, уроженцем Тавриды <...> привлек внимание Пушкина в том же 1824 г. и другой темой. Рассказ Овидиева Гета (ст. 48–96) и состоит из пересказа мифа об Оресте, Пиладе и Ифигении, о развалинах храма Дианы, обогранных кровью жертвоприношения. Развалины этого, еще существовавшего во времена Овидия <...> „грозного храма“ имел в виду Пушкин и в „Отрывке из письма к Д.“ <...> В 1824 г., в Михайловском, вспоминая, с одной стороны, образ Овидия, с другой — впечатления „морского берега Тавриды“ 1820 г.», Пушкин «использует Ореста и Пилада как параллель былой, политически одухотворенной дружбе своей с Чаадаевым»⁵⁹. Добавим, что Овидий, постоянно развивая тему дружеской верности, не раз вспоминает этот миф — в качестве примера и «косвенного ободрения мифом»⁶⁰, и дважды его подробно пересказывает.

Обратим особое внимание на то, что и в «Отрывке из письма к Д.» морской берег Тавриды указан в качестве места, откуда ссыльный поэт обращается к своему другу, оставшемуся в метрополии (Чаадаев уехал за границу в 1823 и вернулся в 1826 г.). Все эти указания на морской берег Тавриды способствуют актуализации антологического плана стихотворения в качестве «назоновского» и дают новый ответ на вопрос о значении пушкинской датировки этого стихотворения. Возможно, Пушкину хотелось обозначить 1820-м годом начало «назоновского сюжета»⁶¹ (или, иначе, мифа о «встрече» Пушкина и Овидия⁶²),

⁵⁹ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1941. Т. 6. С. 150.

⁶⁰ Гаспаров М. Л. Примечания // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 238.

⁶¹ В недавнем исследовании «овидиев сюжет» Пушкина продлен до 1836 года, но «крымского» послания Чаадаеву в нем нет. См.: Черашняя Д. И. Тайная свобода поэта: Пушкин. Манделштам. Ижевск, 2006. С. 115–135, 185–189.

⁶² См.: Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб, 1999. С. 218 и др.

изобразив дело так, будто во время южной ссылки он сразу нашел эту тему и сумел оценить ее семантические возможности, сразу почувствовал себя «новым Овидием», которого «наш Август» отправил в ссылку на край земли, в «дикую» провинцию Империи, и сразу нашел тот благородный тон, которым и пристало свободолюбивому «римскому гражданину» говорить о своих невзгодах. Меняя хронотоп этого стихотворения, Пушкин менял «овидиев сюжет».

Хронологически этот сюжет начался в послании, украсившем письмо Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 г.: античная тема была естественна и комплиментарна в стихах, обращенных к поэту, трудившемуся над переводом «Илиады». Затем она была развита в двух написанных в том же году посланиях: одно из них — «Чедаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...», напечатано в «Сыне отечества», 1824 г., с датой «20 апреля 1821»), второе — «К Овидию» (написано 26 декабря 1821 г., напечатано в «Полярной звезде на 1823 год» — первым из стихотворений на эту тему). В «Северных цветах на 1826 год», где был напечатан «Отрывок из письма к Д.», Пушкин поместил послание «Баратынскому», с подзаголовком «Из Бессарабии», где он поминает «тень Назона» и приветствует ссыльного Баратынского в качестве «Овидия живого» — стихи, заметим, вполне имперские:

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
(II, 235)

Во всех этих стихотворениях место ссылки лирического героя — это страна, где «Августом изгнанный Овидий мрачны дни влачил», везде со все большим блеском развита система со- и противопоставлений его судьбы и судьбы Овидия. Круг мотивов — тот же, что у Овидия: изгнание, память друзей, образ «идеального друга», память о прошлом и надежда на будущее, поэзия⁶³. В таком контексте сам жанр дружеского

⁶³ См.: Гаспаров М. Л. Овидий в изгнании // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 197–219.

послания приобрел подчеркнуто римские коннотации: первая тема Овидия в ссылке — это невзгоды изгнанника, вторая — память друзей⁶⁴. «Важность этой темы, — писал М. Л. Гаспаров, — задана Овидию самим жанром: элегия с древнейших времен ощущалась как монолог, к кому-то обращенный, а стихотворное послание тем более требовало конкретного адресата. Такими адресатами стали для Овидия его римские друзья»⁶⁵. Дружба — это вообще римская тема. «Дружба в римском сознании была почти юридическим отношением, одной из основных связей, скрепляющих общество; для Катутла измена в дружбе так же ужасна, как измена в любви. Овидий подхватывает эту тему: дружба для него — высочайшая духовная ценность, одно из порождений той высокой культуры, которой он так дорожит; основа дружбы — духовная общность...»⁶⁶. Не случайно, конечно, что Пушкин развивает «назоновский сюжет» в посланиях к друзьям, в том числе — Чаадаеву, наиболее подходящей фигуре для создания образа «идеального друга», о котором Пушкин мог бы сказать словами Овидия:

Первый мой друг из любимых друзей, кто единственный был мне
В бедах моих алтарем, где я спасенья искал.
Чьи оживили слова мою умирающую душу,
Как полунощный огонь масло Паллады живит...⁶⁷

и сказал (в послании 1821 г.) почти теми же словами:

...Ни музы, ни труды, ни радости досуга —
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг...

⁶⁴ Там же. С. 206.

⁶⁵ Там же. С. 209.

⁶⁶ Там же. С. 210.

⁶⁷ Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 61.

Ср.:

O mihi dilectos inter pars prima sodales,
Unica fortunis ara reperta meis;
Cujus ab adloquiis anima haec moribunda revixit,
Ut vigil infusa Pallade flamma solet...

(Publius Ovidius Naso. Tristia; IV, 5; 1–4 // Œuvres complètes d'Ovide. P. 236).

<...>

В минуту гибели над бездной потаенной
 Ты поддержал меня недремлющей рукой;
 Ты другу заменил надежду и покой;
 Во глубину души вникая строгим взором,
 Ты оживлял ее советом иль укором;
 Твой жар воспламенял к высокому любовь;
 Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

(II, 188)

В послании 1824 г. римская тема идеальной дружбы подсвечена любимым приемом Овидия — мифологической параллелью. «Сравнения из области мифологии <...> это, так сказать, уже не сырье, а полуфабрикат, они входят не просто в сознание, а в эстетическое сознание читателя, они не только несут понимание, но и возбуждают сочувствие и, что важнее, ощущаются как красота»⁶⁸. Пушкин удваивает красоту приема, когда использует в стихотворении, обращенном к другу, тот самый миф, который был пересказан Овидием и тоже был адресован друзьям:

Вдруг отозвался старик, стоявший с прочими рядом,
 И, обратившись ко мне, молвил такие слова:
 «Очень знакомо и нам, чужеземец, понятие о дружбе,
 Здесь, где, далеко от вас, в Понт изливается Истр.
 Место в Скифии есть, что зовется издревле Тавридой...»⁶⁹

Как уже было сказано, именно это стихотворение с античным мифом в устах варвара, вероятно, вдохновило Пушкина вложить такое же предание о самом Овидии в уста старого цыгана. В рас-

⁶⁸ Гаспаров М. Л. Овидий в изгнании. С. 217.

⁶⁹ Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 126.

Ср.:

Forte senex quidam, coetu quum staret in illo,
 Reddidit ad nostros talia verba sonos:
 'Nos quoque amicitiae nomen bene novimus, hospes,
 Quos procul a vobis Pontus et Hister habet.
 Est locus in Scythia — Tauros dixere priores...

(Publius Ovidius Naso. Epistulae ex Ponto; III, 2; 41–45 // Publius Ovidius Naso cum variis lectionibus. P. 383–384).

сказе Гета есть одна подробность, кажется, до сих пор не отмеченная: упоминаемый им алтарный камень. Обагранный жертвенной кровью, он символически изменил белый цвет на красный:

Здесь, повествует молва, небесный кумир находился;
Цело подножье его, хоть и пустое, стоит.
Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным,
Красным от крови людей сделался, цвет изменив⁷⁰.

На этом камне под ножом Ифигении должен был пасть один из друзей — Орест или Пилад, этот камень был освящен великодушной готовностью умереть вместо друга и как бы «обелен» непролившейся кровью. На нем «новый Овидий» соединяет свое имя с именем друга — жест более чем символический. Это почти обряд или торжественная клятва — во всяком случае, эта памятная надпись останется, «доколь в подлунном мире...», потому что она сделана в стихах. Но при этом камень-то — не только воображаемый. Вот он, он существует, это тот самый камень, на котором... см. начало стихотворения, рассказ Овидия, рассказ Гета и то, что поэт пишет на этом камне сейчас.

Ю. Н. Чумаков, говоря о композиционной идентичности двух посланий Чаадаеву, поднял вопрос о том, за сколько стихов следует принимать строку точек, перерезающую второе послание, и какова функция этой строки. «Акустически, — говорит он, — эквивалент вообще не передаваем. Передаваема лишь пауза, способная в силу своей иррациональности вместить текст любой длительности: стих, строфу, группу строф, главу и т. д. Строка точек второго послания является эквивалентом любого текста, начиная от нуля. Она может вместить и первое послание, воспоминание о котором естественно приходит в этом месте, вызывая мгновенный сдвиг рефлексии из

⁷⁰ Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. С. 126.

Ср.:

Fama refert illic signum caeleste fuisse:
Quoque minus dubites, stat basis orba Dea
Araque, quae fuerat natura candida saxi,
Decolor adfuso sanguine tincta rubet.

(*Publius Ovidius Naso. Epistulae ex Ponto; III, 2; 51–54 // Publius Ovidius Naso cum variis lectionibus. P. 384*).

мифологической древности в современность»⁷¹. Строка точек может вместить и все то, о чем мы говорили выше. Действительно, Таврида для Пушкина — «Воображенью край священный»!

С учетом всего сказанного становится ясно, что послание Чаадаеву — одно из самых «назоновских» стихотворений Пушкина, а его название, с подзаголовком «С морского берега Тавриды», должно читаться как «Послание с Понта». В то же время это одно из самых «горацианских» стихотворений. Эти два начала сосуществуют а нем примерно так же, как в послании «Овидию» — образы двух ссыльных поэтов:

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их...

(II, 219)

Однако «тьень» первого послания к Чаадаеву, сопровождающая «второе», напоминает, что «суровый славянин» и сам был когда-то певцом любви и «тихой славы», а шестистопные «элегические» ямбы «третьего» (если считать изнутри «назоновского сюжета») подтверждают, что горацианское равновесие достигнуто:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой...

<...>

Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

(II, 187, 189)

Что же касается географии, то храм Артемиды оказался своего рода «заколдованным местом», где соединились миры, разведенные во времени и пространстве. Еще в кишиневских стихах «назоновского сюжета»

⁷¹ Чумаков Ю. Н. Композиция двух посланий к Чаадаеву. С. 311.

Бессарабия предстала окраиной сразу двух империй, которые, как две окружности с далеко отстоящими один от другого центрами, наложились друг на друга в одном сегменте, где и встретились лицом к лицу два поэта из разных, но поэтической традицией соединенных миров. Мифориторическая система культуры предоставила Пушкину замечательную возможность игры семантическими пространствами благодаря органически свойственному ей переживанию нетождественного тождества двух поэтических реальностей и двух империй «века Августа»: время этой культуры — «время стояния, точнее, время пребывания в своем», это «не культурное прошлое, а культурное настоящее»⁷².

Пушкина, видимо, самого так поразил этот головокружительный эффект, что, когда он отказался наконец от легенды, называвшей Бессарабию местом ссылки римского поэта, он (в послании Баратынскому) сохранил ее для Овидиевой «тени»:

Еще доньне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев Муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого.

(II, 235)

На берега Дуная, где он «реально» мог бы встретиться с Овидием, Пушкин не попал, но в 1824 г. вспомнил рассказ старика Гета и нашел то место, где бывал он сам и где «реально» бродила «тень Назона». И две империи «реально» сошлись в одной точке. Они соприкоснулись, потому что два поэта, существовавшие в разное время, но в одной культуре, оказавшись в далекой и «дикой» провинции, чувствовали при этом свою связь с Империей и с друзьями, оставшимися в метрополии.

В «Отрывках из путешествия Онегина» Пушкин включил в имперский текст еще одного «нового Овидия» — Мицкевича — и тем завершил этот сюжет.

⁷² Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII—XIX веков. С. 515.